

Джордж
Оруэлл



Фунты лиха в Париже и Лондоне
Дорога на Уиган-Пирс



XX век – The Best

Джордж Оруэлл

**Фунты лиха в Париже и Лондоне.
Дорога на Уиган-Пирс (сборник)**

«АСТ»

1933, 1937

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Оруэлл Д.

Фунты лиха в Париже и Лондоне. Дорога на Уиган-Пирс (сборник)
/ Д. Оруэлл — «АСТ», 1933, 1937 — (XX век – The Best)

ISBN 978-5-17-104841-9

В этот сборник вошли два ранних произведения Оруэлла – первая повесть, документальная, опубликованная им под этим псевдонимом, – «Фунты лиха в Париже и Лондоне», и публицистическая «Дорога на Уиган-Пирс», посвященная жизни англичан в 1930-е годы прошлого века. «Фунты лиха в Париже и Лондоне» – драматичная и в то же время преисполненная свойственным Оруэллу язвительным юмором автобиографическая история молодого английского интеллектуала, перебивающегося в столицах случайными заработками посудомойщика в ресторанах. Мрачный, блестящий и точный автопортрет одного из типичных представителей европейского «потерянного поколения». Тот же саркастический пессимизм отличает и публицистическую «Дорогу на Уиган-Пирс», в которой Оруэлл исследует безотрадно-унылое существование представителей как рабочего, так и среднего класса Северной Англии, и размышляет о предпосылках увлеченности его современников из разных слоев общества социалистическими идеями.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-104841-9

© Оруэлл Д., 1933, 1937

© АСТ, 1933, 1937

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Фунты лиха в Париже и Лондоне | 7 |
| I | 7 |
| II | 10 |
| III | 13 |
| IV | 16 |
| V | 19 |
| VI | 22 |
| VII | 25 |
| VIII | 29 |
| IX | 32 |
| X | 34 |
| XI | 37 |
| XII | 40 |
| XIII | 42 |
| XIV | 45 |
| XV | 49 |
| XVI | 52 |
| XVII | 54 |
| XVIII | 57 |
| XIX | 59 |
| XX | 62 |
| XXI | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 66 |

Джордж Оруэлл
Фунты лиха в Париже и
Лондоне. Дорога на Уиган-Пирс

George Orwell

DOWN AND OUT IN PARIS AND LONDON THE ROAD TO WIGAN PIER

© Eric Blair, 1933, 1937

© Перевод. В. Домитеева, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Фунты лиха в Париже и Лондоне

О, злейший яд, докучливая бедность!
Джеффри Чосер

I

Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей – хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.

Мадам Монс: «*Sacrée Salope!*¹ Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? *Espèce de traînée!*»²

Квартирантка с четвертого этажа: «*Va donc, eh! vieille vache!*»³

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов.

Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.

Улица очень узкая – ущелье в скалах громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные «бистро», где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин; арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба.

Моя гостиница называлась «Отелем де Труа Муано» («Трех воробьев»). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей *patronne*⁴, подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в *своем* номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.

¹ Чертова шлюха! (*фр.*)

² Ну и потаскуха! (*фр.*)

³ Да заткнись, сволочь старая! (*фр.*)

⁴ Хозяйка (*фр.*).

Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было – сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготавливая дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшим себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам – служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.

Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же, как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неопишным чудачеством.

Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом – как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.

Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтического рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие – молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги.

Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам – шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тонень-

ким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня, Р. был единственным в квартале англичанином.

Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они – часть темы. А тема моего рассказа – бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.

II

Жизнь нашего квартала. Ну хотя бы наше бистро при входе в «Отель де Труа Муано». Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью «Crédit est mort»⁵, красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги «для желудка», перестук костяшек в играх на аперитив и песни про «Les Fraises et les Framboises»⁶, про Мадлен, озадаченную «Comment épouser un soldat, moi qui aime tout le régiment?»⁷, и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудно найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.

Речи порой звучали странные. Как пример приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.

Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко-красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого, кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует, подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросычьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно.

Любимый сюжет рассуждений Шарля – любовь.

«Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont tué!»⁸

Да, messieurs et dames⁹, женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли... Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф – обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине raffiné, vicieux¹⁰...

...Messieurs et dames, вам грустно, о, конечно. Ah, mais la vie est belle¹¹ – я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!

Наполним же кубки самосским вином,

Забудем о наших печалях!

Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня – и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.

Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой брат – он, кстати, адвокат – наведлся в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы

⁵ «Кредит скончался» (фр.).

⁶ «Землянички и малинки» (фр.).

⁷ «Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк?» (фр.).

⁸ Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (фр.)

⁹ Дамы и господа (фр.).

¹⁰ Утонченного, порочного (фр.).

¹¹ Но жизнь прекрасна (фр.).

отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан – уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братца не знал – безопасность гарантировалась.

Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазных рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати – смокинг, стрижка а l'américaine¹², – мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.

Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука – огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.

Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: «Сколько?» «Тысячу, – прохрипел женский голос. – Деньги вперед, иначе ходу нет».

Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры, затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала, прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего, кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.

«Voilà!¹³ – проговорила она. – Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода».

Ах, господа, надо ли описывать – forcement¹⁴, вы и сами это извели – эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал предстал передо мной, а спальня – огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, messieurs et dames! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный – везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и все остальное, покрывалом; на постели девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть коротенькой юбкой колени.

Я замер в дверях. Позвал: «Иди же ко мне, цыпочка».

Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло – вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На

¹² Под американца (фр.).

¹³ Ну вот! (фр.)

¹⁴ Неизбежно (фр.).

вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо напудрено и нарумянено, но все еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано только во взглядах подобных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.

Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее, как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, *messieurs et dames*, что я взялся вам изъяснить, – *voilà l'amour!* Вот любовь подлинная, вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи бесцветны и бесплотны, словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего любовь – истинную любовь, – выше хотя бы тени, призрака этого восторга?

Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. «Пощадить? – рассмеялся я. – По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?» И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.

Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал – под парижскими мостовыми мы были скрыты, подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, *messieurs et dames*, вам, не изошрившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, – о, моя юность! – никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!

Да, все в прошлом – в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле – *car en réalité* – сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Секунда блаженного экстаза, вслед за которой прах и пустота.

Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных... И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался – но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался, безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На девчонку я больше не взглянул, единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.

Вот, *messieurs et dames*, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни».

Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.

III

Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего, кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом – очень мудро, как оказалось, – авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течение которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.

В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек – цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных – никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов десять пенсов).

Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков – шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.

Вообще, интересно – первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота – нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар, – нет, унылая серая скука. И та особая, чисто бедняцкая *жалкость*, которую для себя открываешь, поневоле участь всяческим мизерным уловкам, крохоборству.

Открываешь еще одну непременно спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик – соответственно нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево.

Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипяتيش его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем – хоп! насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.

Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «Pardon, monsieur», – щебечет она, – не возражаете побольше на два су?» Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.

Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской, и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем чтобы уже никогда там не появляться.

Забредаешь в уважаемый квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.

Открываешь, что такое – быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исключительно из трусости.

Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским «jeune squelette»¹⁵; возродить «кости, изнывшие от пыток» могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.

Вот она – описывать ее можно и дальше, но суть та же, – жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.

Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань Сен-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «Merde!»¹⁶ – кричал он. – *Опять* явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?». Платил он немислимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкнул, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.

¹⁵ «Молодым скелетом» (*фр.*). Из стихотворения Ш. Бодлера «Веселый мертвец» (Шарль Бодлер. Цветы зла. Перевод Эллис. Л.).

¹⁶ Буквально – «дерьмо!» (*фр.*); популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!».

Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравнивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее исчезает. В определенном смысле, действительно, чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра – это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто голодать – кошмар ведь?» И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.

И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал, почему фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества.

IV

Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой вместо того, чтобы вытащить вещи тайком, – популярнейшим трюком нашего квартала было «дернуть по-тихому».

Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью «Liberté, Egalité, Fraternité»¹⁷, осеняющей во Франции даже двери полицейских участков) приходишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек сорок-пятьдесят. Закладчики отдадут у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкрикает: «Numéro¹⁸ такой-то, на пятьдесят франков?» Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять – сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «Numéro 83, сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Numéro 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга Numéro 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.

Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть, франков триста, я не тревожился. Ну в худшем случае получу двести.

Наконец прозвучал мой номер: «Numéro 97!»

– Да, – поднялся я.

– Семьдесят франков?

Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению, слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.

Завидев меня, убиравшая быстро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:

– Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?

– Двести франков, – быстро проговорил я.

– Tiens!¹⁹ – вскинула брови мадам Ф. – Совсем, *совсем* неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!

Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью.

¹⁷ «Свобода, Равенство, Братство» (*фр.*).

¹⁸ Номер (*фр.*).

¹⁹ Вот как! (*фр.*)

С болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.

Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артроз; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.

Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда, из-за болезни, от длительного постельного режима, чудовишно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос наконец до официанта. Заболел он, когда служил в «Отеле Скриб», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.

О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. «Клозери де Лиля» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции «Коммерс», а на «Камброн», столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким «Merde!».

Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий – их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:

– Voilà, mon ami!²⁰ Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан – неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.

Ah, mais, mon ami²¹, жизнь – это взлеты и падения! Капитан русской армии, и вдруг, бац! революция – все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в «Отеле Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером²² и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.

Эх, однако, знал я, что такое жить джентльменом, mon ami. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно... Эх, ладно, ça reviendra²³. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!..

Натура Бориса поражала странной пластичностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил,

²⁰ Вот, мой друг! (фр.)

²¹ Ну что же, друг мой (фр.).

²² От французского plongeur – мойщик посуды (в ресторане).

²³ Еще поживем! (фр.)

так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.

«Обслуживать гостей – играть в рулетку, – повторял он. – Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых – десять процентов к счету, да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в «Максиме», например, за смену имеет пятьсот франков. И больше даже, если сезон... Я сам, бывали дни, по двести набирал – это в Биаррице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того – две сотни в день...

...Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то, я тогда работал в «Руайаль», один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. «А ну, гарсон, – говорит мне клиент (пьяный в дым), – я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков». Я дошел – он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили – растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?»

Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. «Поживешь наконец по-человечески, – уговаривал он. – Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять – это трепотня. Писателю один путь в люди выйти – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, – ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться! Ты, *mon ami*, если совсем прижмет, сразу ко мне – устрою запросто».

Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я, наверное, сгожусь, эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера – только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.

V

Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан Манто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что «все более-менее нормально» – следовало полагать, мой приятель снова в «Отеле Скриб», вновь ежедневно набирает свои сто франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви, уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет «Голуаз» в предвкушении скорого благоденствия.

Утром я разыскал улицу Марше де Блан Манто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была крошечнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа – известного «Бульона Зип», двадцать пять сантимов пакетик. Сердце слегка екнуло: употребляющие «Бульон Зип» либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса сто франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, «на самый верх». По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах «Бульона Зип» крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел.

Чердачная комнатка метров девять, свет через тусклое оконце в потолке, мебелировка – железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал, живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал:

– Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!

– Что случилось? – кинулся я.

– Да спина вдребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ох, дьявол, боль в спине – тебе не передать!

– Борис, мой дорогой, ты заболел?

– Не заболел, только оголодал до смерти – сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, топ амі.

Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в «Отеле Скриб». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал, все свои деньги он истратил, все вещи заложил, настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под Аустерлицким мостом, на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том (следовало изложение каких-то путаных обстоятельств), что еврей задолжал Борису триста франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал два франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогадиками. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место (прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь) и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала.

Большое было разочарование – прийдя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше шестидесяти франков и мне необходимо срочно найти работу. Борис тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно:

– Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков – состояние! Будь добр, подай-ка мне ботинок, mon ami. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва негодяи войдут в пределы досягаемости.

– Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?

– Возможно? Никаких сомнений. На самом деле у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс – вот-вот откроется. И une chose entendu²⁴, что я там буду метрдотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. Пять сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые.

– А пока? Скоро мне опять платить за комнату.

– О, что-нибудь найдем! У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг, – в Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех дамах, которые меня любили! Женщины, знаешь, никогда не забывают; только шепни – мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнето из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, mon ami. Деньги достать проще простого.

– Ну так пошли сейчас и найдем место.

– Сейчас, mon ami. Без куска не останемся, не бойся. Дело обычное, капризы солдатской фортуны – сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правило Фоша: «Attaquez! Attaquez! Attaquez!»²⁵

К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некоего имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что, Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым, двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры лодыжек. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами.

Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Риволи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела: молодые лощенные официанты, официанты не столь лощенные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму, и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо, рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена; не поскупившимся на двадцать франков место обычно находилось.

Потопали к «Отелю Скриб», час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потаскились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями: недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тро-

²⁴ Дело решенное (фр.).

²⁵ Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (фр.)

туарам четырнадцать километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции «Пляс Итали» он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно и все, что остается, – криминал:

– Лучше грабить, чем голодать, *mon ami*. Я уж про это часто думал, прикидывал: жирный богач американец – темный закоулок под Монпарнасом – булыжник в чулке – трах! – карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул – войну отвоевал, не забывая.

Преступный план Борис в итоге все же отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить.

По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился (еда, видимо, действовала на его организм с силой крепчайшего коктейля). Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу:

– Завтра найдем что-нибудь, *mon ami*, я носом чую. Фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке – человек с мозгами голодным не останется.

На что способен человек с мозгами! Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений, и что ж, ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за пятнадцать франков. Потом – знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? – где клерк поставил «*en or*»²⁶, он приписывал «*et diamants*»²⁷, где было «пятнадцать франков», исправлял на «пятнадцать тысяч». Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тыщонку. Так что вот пораскинул я мозгами...

До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биаррице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший, чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.

²⁶ Из золота (*фр.*).

²⁷ И бриллиантов (*фр.*).

VI

Работа и назавтра не нашлась, и еще три недели фортуна хмурилась. Двухсотфранковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан со скоростью двух миль в час, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, двенадцать раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов; дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный: ни в хромых, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной, начальник не заметил больной ноги. «Да, – кивнул он, – нужны двое на склад. Пожалуй, подойдете, заходите». Но едва Борис сделал шаг, фиаско: «А-а, вы хромаете, – *malheureusment*...²⁸». Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вокзальные грузовые тележки, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм.

Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало *petit bleu*²⁹, сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В *petit bleu* значилось «срочно» и предлагалось двадцать франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс, и ускользает – нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристойен пиджак Бориса; брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак, крупнейший, пришлось надеть небрежно, нараспашку и все время держать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел семьдесят пять сантимов на автобус. В бюро, однако, ждало известие о том, что господин передумал и покинул Париж.

Борис мне рекомендовал сходить на Центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и ощупал ладонь:

– А ты как, сильный?

– Очень, – лживо уверил я.

– *Bien*³⁰. Покажи себя, ну подыми-ка эту штуку.

Рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся: грузчики поднимали эту корзину на телегу *вчетвером*. Весила она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить.

Подчас, в очередном приливе светлых надежд, Борис тратил пятьдесят сантимов на марку и отправлял какой-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила наконец лишь одна. Та, что когда-то, кроме пылких ласк, получила еще двести франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со знакомым почерком Борис восторженно обезумел.

²⁸ К сожалению (*фр.*).

²⁹ Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой (*фр.*).

³⁰ Хорошо, ладно (*фр.*).

Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с краденными леденцами. Борис прочел и молча передал листок мне. Послание гласило:

«Мой Обожаемый и Драгоценный Зверик!

Как изумительно было раскрыть Твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуи Твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно бы аромат засушенных нежных фиалок.

А про те двести франков, что Ты пишешь, о нет! никак. О мой Единственный, Ты не познаешь, какая боль во всей моей душе от Твоих затруднений! Но чего ж ожидать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания. И мне судьба тоже ужасно жестокая. Сестричка заболела (ах, бедняжка, как она мучилась!), на докторов ушло кошмар сколько. Ни франка не осталось, клянусь Тебе, у нас самих сейчас до крайности трудные времена.

Не унывай, мой Зверик, главное – не унывать! Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят, и потом к нам опять сияют лучи зари.

Верь, Драгоценный мой, я не забуду Тебя навек. И прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить Тебя до гроба,
Твоя Ивонн».

Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу. Моих шестидесяти франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил, мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои два франка, я добавлял три-четыре – покупались хлеб, сыр, картошка, молоко, и над спиртовкой варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки (порция больше), кому из чашки, и всякий раз, к моему тайному негодованию, Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье делалось все грязнее и противней, и уже три недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну, Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примирял с такой жизнью лишь табак. Курева у нас имелось вволю, так как Борис успел где-то свести знакомство с одним солдатом (рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами) и закупил у него пачек тридцать по полфранка.

Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде несколько не худел. А вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать двухфранковые монеты. Однажды мы томились на улице Руайяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в Церковь Мадлен, поставить там полфранковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку (тоже за пятьдесят сантимов) как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой; во всяком случае, работу мы тогда упустили.

Иногда утром Борис просыпался на дне отчаяния. Лежал в кровати, чуть не плача, проклиная еврея, у которого жил. Еврей последнее время начал капризничать насчет выдачи ежедневных двух франков и, того хуже, напустил на себя важный, снисходительный вид. Борис говорил, что мне, англичанину, не понять, сколь мучительно русскому благородному человеку оказаться под еврейской пятой.

«Еврей, mon ami, – философски определял он, – это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает стыдиться этого. Подумать только, что российский офицер – не помню, говорил ли я тебе, mon ami, что служил капитаном во Втором сибирском? Да, капитаном, а отец-то полковником был. И вот я, куском хлеба обязанный еврею. Евреи – это...

Вот я тебе расскажу, кто это. Как-то в начале войны шли мы маршем, остановились на ночлег в одной деревне. Жуткий старый еврей, борода рыжая, как у Иуды, прокрался в мое помещение для постоя. Спрашиваю, чего ему надо. «Ваша честь, – говорит он, – я привел вам красивую юную девушку, только семнадцать исполнилось. И будет все лишь пятьдесят франков». – «Спасибо, – отвечаю, – не хватало мне еще подхватить заразу». – «Заразу! – кричит еврей, – mais, monsieur le capitaine³¹, об этом можете не беспокоиться, это же моя собственная дочь!» Вот тебе еврейский характер.

Рассказывал я уже тебе, mon ami, что в царской армии считалось дурным тоном даже плевать в еврея? Нечего, мол, на него тратить слюну русского офицера. Да, эти евреи...»

В подобном настроении Борис обычно чувствовал себя совершенно больным и разбитым. До вечера лежал в замызганных, кишящих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было, ходы мы записывали на обрывке бумаги, позже сами сделали доску из фанерки от ящика, вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он говорил, что над шахматной доской совершенно забываешь о голоде, однако в моем случае это явно не подтвердилось.

³¹ Но господин капитан (*фр.*).

VII

Деньги мои быстро таяли – до восьми франков, четырех, одного, до двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги, ничего на них не купишь, кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб всухомятку, потом на двое с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня, – не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой.

В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к Сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В Сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая «Записки Шерлока Холмса». Единственное, к чему был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов, больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания – это полнейшая апатия; это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодавший наблюдение подтвердит.

На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати, в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь:

– Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!

– Кто? Кого?

– Еврей! Мои два франка украл, собачий сын, ворюга! Ограбил дочиста, пока я спал!

Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически впредь отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили, в итоге еврей все-таки согласился дать два франка, сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом – прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги.

Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо (грубейшая ошибка, когда ты голоден). Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаяние отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух:

– Так, mon ami, положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая! Но есть новость похуже: еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил – вздумал разом и деньги сэкономить, и от меня скрыться. Если еврей смоемся, я останусь без жилья, а патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан! Нам надо действовать решительно.

– Хорошо. Только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть.

– Это да, обязательно, но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать страшно – заберут мои фотографии! Ну план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись

раньше него. *Foutre le camp*³² – внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Правильный маневр?

– Борис, мой дорогой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают.

– Ну так стратегию, конечно, надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут – ох и скупердяи эти французы! Я, однако, придумал способ со всем справиться, если ты мне поможешь.

Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил:

– Слушай. Прежде всего необходимо заложить наши пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк Буржуа – двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь – сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделает как всегда, грошова душонка: влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть – будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах.

– Так, а чемодан?

– А-а, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего двадцать франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне – бросил под Березиной целую армию!

Борис так воодушевился этим проектом (именовавшимся у него *une ruse de guerre*³³), что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана – втихую смывшись, негде будет голову приклонить, – он игнорировал. *Ruse de guerre* вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто (прогулка в девять километров на пустой изголодавшийся желудок) и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой миной, настырный коротышка – типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.

– *Merde!* – чертыхнулся Борис. – Положение усложнилось! Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.

– Но как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно!

– Нет? Легко же ты сдаешься, *mon ami!* А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся.

Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом, но у патрона имелась только одна слабость – *le Sport*, беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере «*Пти паризьен*», потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашляет в момент, по его мнению, благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина, и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул – я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои не скрипнувшие баш-

³² Удрать (*фр.*).

³³ Военная хитрость (*фр.*).

маки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка; смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня, и мы удрали.

И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне – откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, – что *carte d'identité*³⁴ недостаточно: я должен предъявить паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с *carte d'identité* был непорядок (требовавшее уплаты за перерегистрацию, удостоверение не продлевалось), так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт Руайаль.

Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого, я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток.

Затем счастье, словно по волшебству, переменялось. Я брел обратно улицей Брока – вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу такую же монету и купил фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни, и соли не было, но мы сожрали картошку мигом, с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда.

В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал: если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на двадцать франков, я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу Numégo 83. Уселся я в первом ряду – не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков.

Наконец выкликнули: «Numéro 117!»

– Да, – встал я.

– Пятьдесят франков?

Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услышал «семьдесят». До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера – даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немислимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись:

– Ну? Сколько дали? Меньше двадцати? Но десять-то уж дали? *Nom de Dieu*³⁵, пять – это наповал. Нет, *mon ami*, *ne говори*, что пять. Если ты скажешь, что дали пять, ей-богу, всерьез начну выбирать, где утопиться!

Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще в нем не случалось наблюдать.

«Ну что я тебе говорил? Капризы солдатской фортуны! Утром с пятью су, а теперь взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал – деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондари, которого пора бы навестить, – вытянул у меня, мошенник, четыре тысячи. Величайший прохиндей в трезвом состоянии, но – любопытная игра

³⁴ Удостоверение личности (*фр.*).

³⁵ Ну уж, ей-богу (*фр.*).

природы – становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. *Merde!* Двести уж пускай отдаст, *allons-y!*³⁶»

Мы отправились на улицу Фондари и приятеля разыскали, и он был пьян, но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились, посреди мостовой началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив – Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне как к арбитру. Сути их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались, сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане *rix fixe*³⁷, куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов два часа обвинявшие друг друга в воровстве приятели дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую.

Ночевал Борис в квартале Коммерс у сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков, я был накормлен и напоен до отвала, располагал надежным запасом курева – действительно волшебное преобразование после пары нерадостных деньков.

³⁶ Пошли! (*фр.*).

³⁷ Фиксированных (т. е. низких) цен (*фр.*).

VIII

С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу (двадцать франков Борис, на непонятных условиях оставшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга). Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывезти из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще, русские беженцы в Париже – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров, и пообедав, дружески подзывал того к столу.

– А! – начинал князь. – Оба мы, стало быть, старые вояки? Плохи теперешние времена? Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка?

– Такого-то, сударь, – отвечал официант.

– Храбрый, доблестный полк! Помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность – бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста.

Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал. И вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании.

От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того, как были сданы в ломбард наши пальто, он довольно таинственно спросил:

– Скажи, топ апи, есть у тебя политические убеждения?

– Нет, – ответил я.

– У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность отечеству, но остальное все – ...! А что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и Библию наверняка читал. Я что хочу сказать – ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?

– Разумеется, не прочь.

– Ладно! В Париже действует подпольное русское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.

– Но чем же? Мне, во всяком случае, ничем, я ведь не русский.

– То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.

– Мне? Но я ничего не смыслю в политике.

– Merde! Они тоже. Кто ж *действительно* что-либо смыслит в политике? Проще простого – перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков «Дейли Мейл»? Спиши оттуда.

– Но «Дейли Мейл» – газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.

– Ну списывай из «Дейли Мейл» наоборот, тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, топ апи, упустить этот шанс, тут светят сотни франков.

Идея мне совершенно не понравилась – парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество – может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным, чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очеред-

ной официант, повел нас на секретное randevu. Названия улицы не помню – какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле Палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошли по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти (там была прачечная), а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпиика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились, и совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.

Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к «русскому господину» через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились – перед нами высился угрюмый молодой человек с шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски.

– Mot d'ordre!³⁸ – рявкнул он, не дождавшись ответа.

Я испуганно замер. Паролей я не ожидал.

– Mot d'ordre! – повторил русский.

Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал: назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатуху с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный аляповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, – надписывал адреса на бандеролях наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски, с сильным акцентом.

– Крайнее легкомыслие! – раздраженно воскликнул он. – Почему вы явились без белья?

– Без белья?

– Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную здесь внизу. Следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.

Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Вел диалог только небритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно – находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они. Вероятно, называют друг друга «батенькой», «голубчиком» или «Иваном Александровичем», как персонажи русских романов. И обсуждают революционность; небритый, наверно, заявляет: «Мы никогда не спорим, диспуты – игры буржуазии! Наши аргументы – дела!» Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал (всего франков у нас имелось лишь семнадцать). В конце концов, потрянув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять.

Угрюмый, явно подбрав, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки: «Являетесь ли коммунистом?» – «Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял». – «Знаете ли политический климат в Англии?» – «О, конечно, конечно!» Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. «А как насчет le Sport? Сможете ли давать статьи о le Sport?» (Футбол и социализм как-то таинственно связаны на континенте.) – «О да, еще бы!» Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал:

³⁸ Пароль (фр.).

– Évidemment³⁹, вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты? Подробности мы уточним.

– Охотно.

– Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас – сто пятьдесят франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. Au revoir⁴⁰, товарищ!

Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой:

– Ну наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, mon ami, фортуна по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно. Слышал, как он тебя стал называть «товарищем»? Сто пятьдесят франков за статью – Nom de Dieu, экая удача!

Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты – снова мне ничего. Продав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор.

Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации: узел «белья» смотрелся очень убедительно, – тайное общество испарилось! Гладильщица в прачечной не знала ничего кроме того, что «ces messieurs»⁴¹ съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом! Утешало, что потеряли только пять франков, не двадцать.

Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов; думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смешленные ребята, роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья – гениально.

³⁹ Вполне очевидно (*фр.*).

⁴⁰ До встречи (*фр.*).

⁴¹ Эти господа (*фр.*).

IX

Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в отеле «Икс» около площади Конкорд, а во-вторых, вернулся наконец патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем, и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести:

– По одежке, по одежке встречают, *mon ami*. Дайте мне новый костюм – через час я займу тысячу франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? – с обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, *mon ami*?

– Выглядишь бледным.

– Проклятье, будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка!

Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону.

Патрон был невысоким плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве.

Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории плонжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью, патрон потряс мне руку.

– О, так вы англичанин? – воскликнул он. – Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?

– *Mais certainement*⁴², – сказал я, угадывая нужный ответ.

– Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, дорогой *monsieur*, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?

По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все *entendu*: как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я плонжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается открытие. «Ровно через две недели», – царственно ответил патрон (он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел). – «Ровно через две недели, день в день!» Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану.

Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом «старинном» стиле (патрон именовал его «нормандским»: перекрестья темных фальшивых балок на белой штукатурке и т. п.), название для пушей средневековости придумано – «Трактир Жана Коттара». Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил заходить Карл Великий, – изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись.

⁴² Ну разумеется (*фр.*).

Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дожидаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того – жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдротелем, обескуражить было невозможно.

– Получилось! Успех – всего-то пару недель продержаться! А что такое парочка недель? Жратва? Je t'en fous!⁴³ Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой! Брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.

Два следующих дня прошли уныло. На последние шестьдесят сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в Ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу; кроме этого, нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо, кроме съестного. Помню обед, выбранный наконец Борисом: дюжина устриц, борщ (отличный суп из красной свеклы с горькой сметаны), раки, цыпленок en casserole⁴⁴, говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди – относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспевания, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.

Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие «Трактира Жана Коттара» мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером, часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну – ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана, согнутый пополам батон:

– Mon ami, mon cher ami – спасены! Угадай?

– Неужели ты нашел работу?

– В «Отеле Икс» около площади Конкорд – пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!

У него, хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать! А днем он велел дожидаться его в саду Тюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплюснутый кулек: телячьи фрикадельки, ломти хлеба, кусочек камамбера и эклер.

– Voilà! Больше не смог вынести, швейцар – ушлая сволочь.

Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тюильри, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий университетно, это для официанта страшное падение, однако временно, до открытия «Трактира Жана Коттара», сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами покраж. Три дня спустя проблемы разом разрешились – один из плонжеров «Отеля Икс» уволился, и по рекомендации Бориса место досталось мне.

⁴³ Плевал я! (фр.)

⁴⁴ Тушеный (фр.).

Х

«Отель Икс» – грандиозный дворец с парадной колоннадой; сбоку незаметной крысиной норкой ниша – служебный вход. Пришел я туда утром, без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пьялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился chef du personnel⁴⁵ (должность вроде помощника управляющего) и начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера, услышал мое «имею», искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять.

– Как раз искали человека попрактиковаться в английском, – пояснил он. – Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем «...»! – Он произнес словцо, которое корябают на стенках лондонские мальчишки. – Ладно, пошли.

Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было), вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма: тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожжащий шум от кухонных печей, точь-в-точь как от паровой машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло – стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, шека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «range-toi, idiot!»⁴⁶, носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано: «Скорей найдешь в ноябре летний день, чем в «Отеле Икс» честную женщину». Все это выглядело диковато.

Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопровождал меня в берлогу под основным подвалом – я еле втиснулся между раковины и газовыми плитами; жарюща градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. Chef du personnel объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, – носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца.

– Англичанин, да? Ну а я тут за все ответственный. Давай трудись! – Официант энергично изобразил тумак и шмыгнул носом. – Станешь отлынивать, – последовала серия крепких пинков по косяку, – рога мигом сверну, у меня не взбрыкнешь. И в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся!

Я весьма ретиво взялся за дело. Не отрываясь (на все передышки меньше часа), проработал с семи утра до девяти вечера: мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню.

Кухня эта превосходила всякое воображение – настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей, вся металлическая арматура обмотана холсти-

⁴⁵ Заведующий персоналом (фр.).

⁴⁶ Посторонись, болван! (фр.)

ной. В центре у плит крутится дюжина поваров; несмотря на белые колпаки, пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и плонжеров с подносами. Голые по пояс поварята шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар, багровый, с роскошными усами, непрерывно выкрикивает: «*Ça marche, deux oeufs brouillés! Ça marche, un Chateaubriand pommes sautées!*»⁴⁷, изредка отвлекаясь на проклятья в адрес плонжеров. Прилавков было три, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? *Таких* вот типчиков нам присылают!», а затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?» (В Шарантане большой приют для сумасшедших.)

– Из Англии, – ответил я.

– И как это я сразу не догадался! Что ж, *mon cher monsieur l'Anglais*⁴⁸, позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь *fous-moi le camp!*⁴⁹ Жди где положено!

Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь да ошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал: за день меня обозвали «*maquegeau*» (сутенером) тридцать девять раз.

В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с пяти вновь начиналась работа. Я пошел покурить (курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире – единственном безопасном убежище). Потом труды мои продолжились, а в четверть десятого, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня свиной, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность.

– Кончай, малыш, – подмигнул официант. – *Tu n'es pas débrouillard*⁵⁰, но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по два литра вина, да я еще бутылочку припрятал – хлебом на славу!

Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про двух парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время для меня перекликался с Бенвенуто Челлини⁵¹. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось: взят я был «экстренным» – на одну смену за единовременные двадцать пять франков. Из этой суммы шутившийся мерзким хорьком швейцар изъясил полфранка, якобы страховой сбор (чистое вранье, как позже выяснилось), а также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованные продукты. Затем подошел *chef du personnel*, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении:

– Возьмем, если ты хочешь, постоянным. Метрдотелю страшно нравится, как произносят названия блюд у англичан. Так что, подпишешься на месяц?

Вот и работа, и я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, где открытие через две недели? Не очень-то красиво пообещать работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на две недели?

⁴⁷ Готово, два яйца-меланж! Готово, один картофельный соте-шатобриан! (*фр.*)

⁴⁸ Дорогой мой господин англичанин (*фр.*)

⁴⁹ Пошел отсюда! (*фр.*)

⁵⁰ Ты не особо шустрый (*фр.*)

⁵¹ Имеется в виду легендарная авантюрная жизнь великого скульптора эпохи Возрождения.

Chef du personnel пожал плечами – в отель людей берут не меньше чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс.

С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Риволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и назвал меня дураком:

– Идиот! Натуральный идиот! Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну можно ли быть таким олухом, чтоб заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось – обещать им этот месяц.

– Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше, – возразил я.

– Честней! Честней! Кто и когда что-нибудь слышал о чести-совести плонжеров? Мон ами, – он порывисто ухватил меня за лацкан, и голос его потеплел, – мон ами, ты целый день там работал, ты видел, каково это, ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства?

– Наверное, не могут, нет.

– Ну вот! Быстро беги обратно, скажи этому chef du personnel, что очень даже готов поработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют.

– Но как же насчет жалованья, если я нарушу контракт?

Взбешенный моей тупостью, Борис хватил палкой о тротуар и заорал:

– А ты проси поденную оплату, не потеряешь ни гроша! Воображаешь, судятся с плонжером за нарушение контракта? Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить!

Я понесся назад, разыскал начальника персонала и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который и был взят. Это мне был первый урок плонжерской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность, – к работникам в больших отелях беспощадны, их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют процентов десять, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент, ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой.

XI

При увольнении контракт я не нарушил, ибо в «Трактире Жана Коттара» некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. Начались мои труды в «Отеле Икс» – четыре дня в кафетерии, день помощником официанта четвертого этажа, еще день на замене уборщицы столовой. По воскресеньям – о, блаженство! – отдых, хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой: днем с семи утра до двух и вечером с пяти до девяти-одиннадцати, а в день, когда я служил при столовой, четырнадцать часов подряд. По нормам парижских плонжеров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной.

Наш кафетерий представлял собой полутемный подвальчик шесть метров на два и чуть более двух высотой; втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлебобрезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколько дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже сорока трех градусов, временами доходило и до пятидесяти пяти. По одной стороне были люки пяти подъемников, напротив дверца чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан – мгновенно в климате прохладнее градусов на пятьдесят (мне всегда вспоминался гимн о Британии великой, которая от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии). Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое: огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец с оперной жестикуляцией полисмена-регулировщика, и странноватое лохматое существо, именовавшееся у нас Мадьяром (он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше). Кроме Мадьяра, все мы отличались немелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе.

Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал – на здешнем языке *суп де feu*⁵² – обрушивался дважды в день. Первый *суп де feu*, когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В восемь утра подвал внезапно сотрясается от топота и крика, отовсюду яростные звонки, люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз, и в люках гремит итальянская ругань официантов со всех пяти этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погреба, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, раскладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, сбивание мороженого, верчение кофемолок – все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в тридцати метрах, столовая метрах в шестидесяти. То, что мы отправляли на подъемниках, нужно было регистрировать, и регистрировать тщательно – за горстку не отмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого, требовалось снабжать хлеб и кофе персонал и доставлять еду официантам наверх. Забот, в общем, хватало.

По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров двадцать пять, и все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа, проще не бывает, но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься как угорелый, похоже на задачу впопыхах разложить сложный пасьянс. Только, например, возьмешься жарить тосты – бах! сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же – бах! рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове «срочно – чай, кофе!» и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неот-

⁵² Выстрел; в переносном смысле «самый разгар», «критический момент» (*фр.*).

ступно ходит за тобой, пристаёт насчет недостающей бутылки содовой, и пререкаешься с ним, выясняешь. Кто бы мог ожидать такого умственного напряжения! Марио говорил (без сомнения, справедливо), что на прочные навыки для кафетерия нужен год.

С восьми до половины одиннадцатого как в бреду. То спешишь, задыхаешься, будто жить осталось несколько мгновений, а то вдруг штиль, поток распоряжений стихает, и общий минутный покой. Тогда метешь пол, насыпаешь свежих опилок и кружками глотаешь кофе, воду, вино – что-нибудь, лишь бы влага. Работая, мы обычно сосали отколотые кусочки льда. Возле горящих газовых конфорок мутило, и питье заглывалось литрами, через несколько часов даже фартук пропитывался потом. Время от времени мы безнадежно отставали, рискуя лишиться часть клиентов завтрака, но Марио всегда вытягивал. Четырнадцатилетний стаж в кафетерии приучил его ни на миг не отвлекаться. Магьяр был туп, я был неопытен, Борис (отчасти из-за хромоты, отчасти из-за постыдной для официанта должности) норовил увильнуть, но Марио работал великолепно. Его умение, раскинув длинные руки, одновременно варить яйца на плите и наливать кофе на столике напротив, при этом бдительно следить за тостами, руководить Магьяром и еще напевать арии из «Риголетто» было выше всяких похвал. Патрон знал ему цену: нам всем в месяц платили по пятьсот, а Марио получал тысячу.

Кутерьма завтрака кончалась в половине одиннадцатого. Мы отскребали свои рабочие столы, убирались, вытряхивали мусор и, если все обстояло благополучно, по очереди шли курить в сортир. Можно было расслабиться; расслабиться, правда, лишь относительно, так как на перерыв давалось десять минут и никогда не получалось отдохнуть без помех. С двенадцати до двух новая волна суматохи – у клиентов ланч. Теперь мы главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно получая *engueulades*⁵³ от поваров. Повара уже часов пять потели возле печей, и темперамент их достаточно разогревался.

Ровно в два превращение в свободных граждан. Фартуки долой, надеваем пальто, выходим и (при наличии денег) ныряем в ближайшее бистро. Странно очутиться на улице после жарких полутемных подземелий. Ослепительный свет, ясно и холодно, будто полярным летом, а как приятен бензиновый воздух после вонючей смеси испарений пищи и пота! Порой в бистро случались встречи с нашими официантами и поварами, которые тут вели себя по-приятельски, ставили выпивку. На работе мы были их рабами, но вне службы по внутреннему этикету полагось полное равенство и *engueuledes* не допускались.

Без четверти пять возвращение. До половины седьмого заказов нет, мы заняты чистой серебря, мытьем кофейников, другими попутными делами. Затем самый высокий за день штормовой вал – ужин! Хотелось бы на время стать Золя, чтобы достойно обрисовать эту бурю. Суть заключалась в том, что каждый из пары сотен гостей требовал собственную трапезу, включавшую пять-шесть блюд, а полсотни людей должны были готовить кушанья, подавать, забирать потом объедки, убирать столики (всякий знакомый с ресторанным делом поймет задачу). И при таком усиленном режиме персонал к вечеру уже совсем измотан, а многие работники пьяны. Никаких слов не хватит для изображения полной картины: беготня с грузами взад-вперед по узким лабиринтам, крик, сутолока, столкновения с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неутоленная по недостатку времени ярость вскипающих безумных ссор – неопишимо. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков. Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе.

В восемь тридцать резкое торможение. До девяти мы еще не свободны, но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не способным даже доковылять до чулана, взять со льда что-нибудь из питья. Иногда *chef du personnel* приносит пиво (пиво официально выдавалось как экстренное средство взбадривания). Хотя кормили нас съедобно и не более, насчет спиртного патрон не скупился, каждому позволяя два литра вина в смену и зная, что без официальных

⁵³ Ругань, брань, головомойка (*фр.*).

двух литров плонжер украдет три. Вдобавок в нашем распоряжении оставались многие недопитые бутылки, так что прикладывались мы и часто, и усердно, – штука полезная, работается под хмельком как-то повеселей.

Подобным образом прошло четыре дня, потом еще один, когда было получше, потом другой, когда похуже. К концу недели весьма ощущалась потребность в отдыхе. У завсегдатаев бистро моей гостиницы существовал обычай крепко напиваться субботним вечером, и я, имея впереди свободный день, охотно к ним примкнул. Упившись донельзя, мы разошлись в два часа ночи, с тем чтобы отсыпаться до полудня. Полшестого меня внезапно разбудили. Посланный из отеля ночной сторож сдергивал одеяло и грубо тряс меня.

– Вставай! – орал он. – Tu n'es bien saoulé la gueule, pas vrai?⁵⁴ Ничего, очухаешься! Человек срочно нужен – работать давай иди.

– Как это работать? – сопротивлялся я. – У меня выходной.

– Выходной у него! Раз работа, так исполнять должен. Вставай!

Я встал и вышел на улицу, позвоночник раздроблен, под черепом пылающий костер. Ни о какой работе речи быть не могло. Однако после часа под землей самочувствие совершенно пришло в норму. Подвальная жара не хуже турецкой бани выпаривает почти любое количество спиртного. Плонжеры пользуются этим. Возможность влить в глотку литры вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, – завидное преимущество жизни плонжера.

⁵⁴ Что, здорово надрался, да? (фр.)

XII

Лучше всего бывало мне в отеле, когда я помогал официанту четвертого этажа. Мы работали в небольшой кладовой, сообщавшейся с кафетерием через подъемный люк. Упоительная прохлада после подвала, и работа – главным образом полировка серебра и стеклянных бокалов, весьма гуманный вид труда. Официант Валенти, парень вполне приличный, наедине со мной общался почти как с равным, хотя, конечно, грубил при свидетелях, ибо официантам не пристало любезничать с плонжерами. В удачные для него дни Валенти подкидывал мне несколько франков от своих чаевых. Миловидный юноша двадцати четырех лет, а по виду восемнадцати, он, как и большинство официантов, следил за внешностью, умел носить одежду. В черном фраке и белом галстуке, сияя свежим лицом и пробором гладко зачесанных каштановых волос, смотрелся настоящим воспитанником Итона⁵⁵, при том что с двенадцати лет сам зарабатывал себе на жизнь, пробиваясь буквально из канавы. Опыт его уже включал и беспаспортный переход границы, и пятьдесят суток ареста в Лондоне за отсутствие разрешения на работу, и любовную связь с клиенткой отеля, старой богачкой, подарившей ему алмазный перстень и потом обвинившей в краже. Приятно было поболтать с ним, покуривая, выдыхая дым в шахту подъемника.

Худшим был день уборщика столовой. Тарелки, на которых приносилась еда из кухни, я не мыл, только другую посуду, приборы и стаканы, тем не менее даже это означало тринадцать часов у раковины и тридцать-сорок мокрых кухонных полотенец. Французский старомодный способ мытья посуды очень утяжеляет дело: о сушилках для посуды тут и не слыхивали, нет и мыльных хлопьев, есть лишь кусок черного глинистого мыла, упорно не желающего мылиться в парижской жесткой воде. Основная работа шла в непосредственно примыкавшем к столовой грязном, захламленном чулане (одновременно и моечной, и кладовой). Кроме того, на мне были доставка блюд и обслуживание официантов, чья нестерпимая наглость не однажды заставляла применять кулаки для исправления манер. Женщине, постоянной здешней судомойке, эта публика совершенно отравила существование.

Забавно было, стоя в своей помойной конуре, представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия – безупречные скатерти, букеты, зеркала, золоченые карнизы, росписи с херувимами, а тут, вплотную, наша мерзкая грязь. Грязь действительно была омерзительная. До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месит себе салаты (на больших пальцы едоков следы сметаны из горшочков). Комната провоняла потом и кислятиной. В шкафах за стопками посуды всюду напихана краденая еда. Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, обо этом не подозревали. Благодаря кокосовому половнику и зеркалу перед дверью в ресторан, официант, прихорошившись, выходил к гостям олицетворением опрятности.

Эти выходы стоило посмотреть. В дверях моментальная перемена – плечи расправлены, неряшливости, суетливой нервозности как не бывало, по ресторанном ковру плавная церемонная поступь архиепископа. Помню, как-то помощник метрдотеля, вспльчивый итальянец, на выходе обернулся к новичку, разбившему бутылку вина (двери, по счастью, хорошо глушили звук):

⁵⁵ Старинный, самый привилегированный английский колледж, питомцем которого был и сам Оруэлл.

– Tu me fais chier⁵⁶. Какой из тебя официант, ублюдок ты поганый? Официант! Не годен даже полы скрести в борделе своей мамаша, старой потаскухи! Marquereau!

С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь... И грациозным лебедем поплыл с подносом через зал. Секунд десять спустя почти изогнулся перед столиком. Ну кто бы, видя эту обходительность, эти манеры, эту натренированную деликатность улыбок, мог сколько-нибудь усомниться в аристократизме сего подателя тарелок.

Мыть здесь посуду я терпеть не мог – не тяжело, но зверски тупо и надоедливо. Страшно подумать, что есть люди, обреченные делать это десятилетиями. Судомойке, которую я заменял, было весьма за шестьдесят, и круглый год, шесть дней в неделю ей приходилось горбиться над раковиной, постоянно терпя вдобавок хамство официантов. Будучи в прошлом, по ее словам, актрисой (на самом деле, как я полагаю, проституткой; уборщица – финал большинства дам этой профессии), она носила мало подходящий ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколки. Следовательно, даже рабство по семьдесят восемь часов в неделю приканчивает человека не до конца.

⁵⁶ Ты меня достал! (*фр.*)

XIII

На третий день службы в отеле chef du personnel, дотоле обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил:

– Вот что, кончай, немедленно сбривай усы! Nom de Dieu, где такое видано – плонжер с усами?

Я начал было возражать, но он отрезал: «Плонжер с усами – чушь! Чтобы завтра же явился без этого безобразия!»

По дороге домой я спросил Бориса, в чем дело. Он пожал плечами:

– Необходимо покориться, mon ami. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких, но так уж заведено.

Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился: официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и плонжерам, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских; официант или повар выше плонжера, как лейтенант относительно рядового. В верховном чине управляющий с его властью уволить кого угодно вплоть до поваров. Патрона мы никогда не видели (знали лишь то, что кушанья ему надо готовить еще внимательнее, чем клиентам); управляющий руководил всем, очень рьяно следя за дисциплиной, особенно в части увливания от работы. Но нас, умников, подловить было нелегко. Пронизывавшую отель сеть служебных звонков штат приспособил для оповещения коллег. Сигнал «длинный-короткий-два длинных» предупреждал «начальство близко», и мы кидались изображать бурную хлопотливость.

Ступенькой ниже управляющего метрдотель. Ресторанным гостям он не прислуживал, разве что исключительно знатным особам, а командовал официантами и вообще направлял работу в зале. Его чаевые с премиальными винных компаний (два франка за пробку от шампанского) достигали двух сотен в день. Он находился на особом положении – ел у себя в кабинете, столовый прибор из серебра, и возле стола – пара начинающих лакеев в крахмальных белых куртках. Чуть ниже главного официанта – главный повар, получавший около пяти тысяч в месяц. Обедал шеф-повар на кухне, но за отдельным столиком и с прислуживающим поваренком. Затем шел chef du personnel: месячный оклад всего полторы тысячи, зато право носить черный пиджак, самому ничего не делать и рассчитывать превосходных официантов и плонжеров. Затем повара, им платили от семисот пятидесяти франков до трех тысяч; затем официанты, у которых, кроме маленькой твердой зарплаты, набегало в день франков семьдесят чаевых; затем швеи и прачки, затем ученики официантов (оклад семьсот пятьдесят и пока без чаевых), затем плонжеры с той же ставкой семьсот пятьдесят, затем горничные, получавшие по пятьсот-шестьсот франков, и, наконец, работники кафетерия – пять сотен в месяц. Мы, «кафетьеры», были самым дном, нас сообще презирали и называли исключительно на «ты».

Имелись всякие другие специальности: и конторщик, и так называемый курьер, и кладовщик, и особый кладовщик винного погреба, и паж, таскающий за клиентом чемоданы, исполняющий мелкие поручения, и грузчик, и еще пекарь, развозчик льда, ночной сторож, швейцар. Различные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара – французы; официанты – итальянцы или немцы (француза-официанта в Париже едва ли сыщешь); плонжеры – из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все, и даже итальянцы между собой, на французском жаргоне.

У каждого подразделения свои льготы. Пекарям парижских отелей выпечка с браком продается по восемь су за фунт, плонжеры делят гроши от продажи помоев на корм свиньям. И везде процветает мелкое воровство. Расхищаются продукты – порции официантов всегда

больше казенной нормы (каких-либо особых неприятностей из-за этого я не замечал), у поваров на кухне то же и масштабы еще крупнее, мы в кафетерии обпивались незаконными литрами чая и кофе. На винном складе кладовщик крал коньяк. По правилам отеля официантам запрещалось припасать алкоголь, с каждым заказом на спиртное следовало идти в погреб, а там кладовщик всякий раз каплю недолейет, чтобы потом приторговывать, отпуская надежным сослуживцам стопочку коньяка за пять су.

Попадались воры, кравшие у своих; оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивавший нас швейцар. При моих пяти сотнях в месяц через полтора месяца он нагрел меня на сотню с лишним. Поскольку я договорился брать поденно, он каждый вечер мне отсчитывал шестнадцать франков и ни сантима не давал за выходные (которые, конечно, тоже входили в общий счет), присвоив таким образом шестьдесят четыре франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных двадцати пяти франках, и он спокойно положил себе в карман еще семьдесят пять. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно, вернуть удалось только двадцать пять франков за последний отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он подтвердил мне правоту поговорки: «Змее верь больше, чем еврею, еврею верь больше, чем греку, но никогда не доверяй армянину».

Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи и с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял, где-то болтался, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов, один или двое из таковых наверняка шпионили – профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Моранди и другим официантом, у которого Моранди, по видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Моранди издевался над ним:

– Чего ты сделаешь-то, ну чего? Ну поимел я твою кралю, три раза переспали – красота! Чего ты сделаешь-то мне?

– А донесу вот в полицию секретную, что ты – итальянский шпион!

Отрицать это Моранди не стал, он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам. Соперник дал задний ход.

Наиболее оригинальное впечатление на меня в отеле произвел один «экстренный», по соответственной расценке взятый на день вместо приболевшего Мадьяра. Это был серб, шустрый коренастый парень лет двадцати пяти, говоривший на шести языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило двенадцать, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к двум увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием:

– Какого дьявола ты вздумал тут курить? – заорал он.

– Какого дьявола ты отрастил такое рыло? – невозмутимо ответил серб.

Богохульство, степень которого не передать; шеф-повар за такую реплику плонжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп. «Уволен!» – рявкнул управляющий. Серба, выдав его экстренные двадцать пять франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски, что за комедию парень ломал. И серб ответил:

– Сам рассуди, *mon vieux*⁵⁷, если я в полдень работал, так должны мне этот день оплатить? Обязаны! Таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я

⁵⁷ Старина, дружище (*фр.*).

завел систему: иду в отель, прошусь «экстренным», до двенадцати вкалываю, но, как полдень отбило, подымаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер? Обычно ухожу уже полпервого, сегодня в два – черт с ними, наплевать, четыре часа все равно себе оттяпал. Жаль только, по второму разу в одном месте не провернешь.

Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета.

XIV

Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего в отелях новичка поражают накаты бешеной суматохи, столь отличной от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него; надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свар и брани. И, надо сказать, перебранки – необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятья демонов и заменяет почти все глаголы единственным «пошел ты!». С губ шестнадцатилетней замарашки сыплются выражения, сразившие бы даже шоферов. (Почему Гамлет говорит «браниться, как судомойка»? Несомненно, Шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле.) Тем не менее мы, ругаясь, ни голов, ни времени не теряли, а просто помогли друг другу уплотнить напряженные часы.

На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самой примитивной. Лентяя здесь быстро опознают и дружно заставляют убраться. Позиции у поваров, официантов и плонжеров весьма различны, но во всех живет гордость своим занятием.

Наиболее близки рабочему классу и далеки от лакейства повара. Они не получают таких денег, как официанты, зато у них выше престиж и место их значительно прочнее. Сам повар себя ощущает не прислугой, а мастером, его и называют «un ouvrier»⁵⁸ (официанта так никогда не назовут); он знает свою силу – знает, что в первую очередь от него зависит успех дела, что, опоздай он хотя бы на пять минут, порядок рухнет. Презирая всех работников не поварской профессии и полагая делом чести оскорблять каждого из них, за исключением метрдотеля, повар гордится достигнутым долгой практикой артистизмом – сложно не столько приготовить еду, сколько суметь приготовить ее вовремя. От завтрака до ланча шеф-повару «Отеля Икс» заказов поступало на сотни кушаний с разными сроками исполнения, и хотя самолично он готовил немного, но инструктировал и проверял каждое блюдо. Память его изумляла. Листки с заказами прикалывались на столе, однако шеф-повар редко туда поглядывал, все держал в голове и выкрикивал какое-нибудь очередное «Faites marcher une côtelette de veau!»⁵⁹ минута в минуту. Он был невыносимо груб, но подлинный артист. За точность, отнюдь не за превосходство в ремесле, предпочитают поваров-мужчин.

Совсем иной внутренний взгляд у официантов. Тоже есть гордость мастерством, но мастерством услужливым, лакейским. Дни официант проводит, непрерывно глаза на богачей, стоя возле их столиков, ловя их разговоры, примазываясь к ним улыбочками и осмотрительными шуточками – наслаждаясь неким приобщением к их расточительству. А кроме того, всегда существует собственный шанс разбогатеть; в некоторых кафе на Больших бульварах такие щедроты от гостей, что там лакеи сами платят хозяевам за рабочие места. Постоянно наблюдающий трату денег и грезящий об этих деньгах, официант в конце концов чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так как и самого себя он уже ощущает участником пиров.

⁵⁸ Умелый работник, мастер (фр.).

⁵⁹ Запускай телячью котлету! (фр.)

Валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем двести тысяч франков и потом месяцами обсуждавшемся: «Какая ж роскошь, mon p'ti, mais magnifique!⁶⁰ Ух ты черт! Шампанское, серебро, орхидеи – сроду такого не видал, хотя кой-чего приводилось. Ух, вот роскошь!»

– Ты ведь, однако, только прислуживал? – уточнил я.

– Ну да, конечно. Но какая ж роскошь!

Мораль – никогда не жалейте официанта. Например, вы сидите в ресторане, сидите уже полчаса после закрытия и представляете, что измученный официант вас презирает. Ошибаетесь. Глядя на вас, он не думает: «Лопнул бы ты, дубина!», а думает он: «Вот когда-нибудь накоплю денег и таким же господином буду сидеть». Полнейшая готовность служить тем радостям, которые его влекут и восхищают. Поэтому редко найдешь среди официантов социалиста, поэтому и хилый профсоюз, поэтому рабочий день двенадцать, порой даже пятнадцать часов. Это снобы, душевно вполне расположенные к лакейству.

Свой особенный взгляд изнутри и у плонжеров. В их работе перспектив нет, одно выжимание соков, ни следа творчества или же интереса. Сюда брали бы просто уборщиц, если б у женщин хватало сил. Все, что тут требуется, – постоянно быть на ногах и подолгу выносить кислородное голодание. Переменить эту жизнь невозможно, так как ничего из грошовой зарплаты не отложишь, а подыскать что-то другое, работая от шестидесяти до сотни часов в неделю, нет времени. Надеяться плонжер в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета.

Но даже у нижайшего плонжера, раба рабов, наличествует некий сорт гордости – гордость трудяги, берущего не содержанием, зато количеством труда. На этом уровне единственно доступный способ держать себя с достоинством это пахать как вол. Плонжер высшего пилотажа – «дебруйар», тот, кто самое невозможное исполнит, со всем справится, всегда изловчится (*se débrouiller*⁶¹). В «Отеле Икс» при кухне работал немец, известный местный дебруйар. Однажды важному клиенту, какому-то британскому милорду, вдруг среди ночи захотелось персиков, что привело официантов в смятение, поскольку фрукты эти на складе кончились, а магазины давно закрылись. «Без паники!» – сказал немец. Ушел и через десять минут возвратился с четырьмя персиками – своровал их в соседнем ресторане. Вот что такое дебруйар. С милорда взяли по двадцать франков за персик.

Старшина нашего кафетерия Марио демонстрировал тип образцового трудяги: всецело сосредоточенный на «работенке» и призывающий к тому же остальных. Четырнадцать лет службы в гостиничных подвалах закалили его обильное врожденное благодушие до крепости стального поршня; «*faut être un dur*» – «надо быть как кремь», говорил он, услышав чье-то нытье. И плонжеры частенько похвалялись «я как кремь», ощущая себя гвардейцами, а не судомойками мужского пола.

Таким образом, чувство служебной чести присутствовало во всех подразделениях, и очередной гигантский вал работы встречался во всеоружии соединенных сил. Вечный бой между отделами тоже определенным образом шел на пользу, так как охрана собственной льготной добычи отваживала посторонних грабителей и ловкачей.

Порядок многосоставного хозяйства с разномастным обслуживающим персоналом обеспечивался четкой задачей каждого и личной его добросовестностью. Это в отеле было хорошо. Но был и слабый пункт – усилия работников не совсем совпадали с нуждами клиентов. Гости, по их убеждению, платили за высококлассный сервис, а служащие, по их убеждению, получали за «работенку», вследствие чего высококлассный сервис преимущественно имитировался. В

⁶⁰ Ну, дружок, просто великолепно! (*фр.*, с вульгарным произношением)

⁶¹ Выйти из положения, выкрутиться (*фр.*).

этом отношении отель со всеми его чудесами пунктуальности уступал худшему из наихудших частных домов.

Взять, для примера, чистоту. В рабочих помещениях «Отеля Икс» свежему глазу открывалась грязь вопиющая. По всем темным углам кафетерия присохла еще прошлогодняя гадость, а хлебница кишела тараканами. Я как-то предложил Марио истребить этих тварей. «Зачем убивать бедных букашек?» – укоризненно сказал он. Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки, прежде чем взяться за масло. Тем не менее чистоту, причисляемую к «работенке», мы блюли. Во исполнение режима мыли рабочие столы и начищали медь регулярно; но распоряжений по-настоящему навести чистоту не поступало, да и некогда было. Мы просто отработывали наш урок, и так как первейшей задачей ставилась точность, берегли время, оставаясь в прежнем хлеву.

На кухне грязь была похлеще нашей. Это не фигура речи, а констатация факта, когда говорят, что французский повар способен плюнуть в суп (не тот, естественно, которым сам он намерен угоститься). Здешний повар артист, однако отнюдь не гений чистоплотности. В определенной мере небрежность даже необходима его артистизму: шикарный вид еды требует антисанитарной обработки. Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилок маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус, перекладывает кусок, снова облизав свой инструмент, затем, чуть отступя, критически глядит на блюдо, подобно живописцу перед мольбертом, и наконец любовно завершает композицию толстыми розовыми пальцами, с утра облизанными уже стократно. Будучи удовлетворен, шеф-повар тряпкой удаляет отпечатки пальцев с фарфоровых краев и вручает произведение официанту. И официант, конечно же, несет тарелку, запустив в соус *свои* пальцы – мерзкие, сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриолиненную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс в Париже свыше десяти франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления. В дешевых ресторанах по-другому, там эти пакости еду минуют; куски, подцепив вилок из кастрюли, раскидывают по тарелкам без художеств. Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам бесплатным гарниром.

Неопрятность присуща отелям и ресторанам, цель которых не накормить, а сразить шиком. Работник слишком занят подачей пищи, чтобы помнить, что эту пищу едят. Еда для него просто «une commande»⁶², вроде того, как чья-то смерть от рака для врача – просто «случай». Клиент заказывает, скажем, тост. Где-то в подвале некто, разрываясь на части, обязан быстро заказ исполнить. Может ли он приостановиться с мыслью: «Тост этот съедят – надо бы, значит, сделать его съедобным»? В голове у него только то, что выглядеть блюдо должно пристойно и отнять не больше трех минут. Пот со лба капает на хлеб – ну и что? Тост падает на пол, в месиво грязных опилок – ну и что, не с новым же возиться? Гораздо проще испачканный ломтик обтереть. По пути наверх тост опять падает, маслом вниз, – еще раз обтереть, да и все. Такова система. Аккуратно в «Отеле Икс» готовили лишь самим себе и патрону. Всеобщей моральной заповедью было «гляди в оба, если хозяину, а для клиентов – наплевать, s'en fout pas mal!»⁶³ Всюду в рабочих отделах сор и гадость; за фешенебельным фасадом тайная циркуляция грязи, как работа кишечника в теле красавицы.

Помимо свиного неряшества, патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом закупкой дрянных продуктов, которые повара, однако, умели стильно преподнести. Мясо в лучшем случае среднего качества, а овощи такие, что хозяйки, ходя по рынку, на них даже бы не взглянули. Сливки, продукт повышенного спроса, разбавлялись молоком. Чай и кофе худших сортов; джемы со всякой химией, из громадных жестянок без этикеток. Все вина деше-

⁶² Заказ (фр.).

⁶³ И так, черт бы их взял, сойдет! (фр.)

вые, закупоренные, по экспертизе Бориса, как *vin ordinaire*⁶⁴. Согласно правилам, загубив что-либо, урон оплачивали служащие, а потому испорченное ненадолго попадало в разряд отходов. Когда официант третьего этажа уронил в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок, липких бумажек и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх. С этажей доходили глухие слухи об уже побывавших в употреблении простынях, которыми без стирки, лишь увлажнив и прогладив, вновь застилали кровати. На нас патрон скупился так же, как на клиентов. В огромном хозяйстве отеля не имелось, например, ни швабры, ни совка; управляться приходилось с веником и куском картона. Уборная для персонала была достойна Центральной Азии, вымыть руки нельзя было нигде, кроме раковин с грязной посудой.

Но, несмотря на все это, «Отель Икс» входил в дюжину самых роскошных парижских отелей, и пребывание здесь стоило бешеных денег. Стандартная цена за то, чтобы переночевать (без завтрака), – двести франков. Вино и табак вдвое дороже магазинных, хотя патрон, конечно, брал их оптом, по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром гость с четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. Валенти был взбешен: «Какого черта! А мои десять процентов? Что, десять процентов от соли и воды?!» И подал счет за завтрак – двадцать пять франков. Клиент безропотно заплатил.

По словам Бориса, то же происходило во всех парижских отелях, по крайней мере в роскошных и дорогих. Но мне кажется, что клиенты «Отеля Икс» особенно легко клевали на дутый шик, поскольку в основном это были американцы, слегка говорившие по-английски, несколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Преспokoйно могли набивать животы отвратительной американской «кашей», есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда, и, заказав *roulet à la reine*⁶⁵, поливать стофранковый деликатес грубым соевым соусом. Одному клиенту из Питтсбурга каждый вечер носили в спальню ужин – виноград, яичница и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно.

⁶⁴ Ординарное (низкосортное, с выдержкой менее одного года) вино (*фр.*).

⁶⁵ «Цыпленок по-королевски» (*фр.*).

XV

Каких только рассказов не услышишь в отеле. Про наркоманов, про блудливых стариков, рыщущих по отелям смазливых пажей-боев, про воровство и шантаж. Марио рассказал про то, как горничная из отеля, где он прежде работал, украла у американки бесценное бриллиантовое кольцо. Несколько дней, не давая работать, обыскивали персонал, два детектива перерыли все сверху донизу, но ничего так и не нашли – работавший в пекарне любовник горничной запек кольцо в рулет, где драгоценность тихо и укромно дождалась прекращения следствия.

Валенти как-то в минуты отдыха поведал мне одну историю о себе: «Знаешь, mon p'tit, все это здорово, когда в отеле, но когда без работы, так ни к черту. Небось сам пробовал сидеть с пустым брюхом? Forcement, не то тарелки бы не мыл. Ну я-то не чертов нищий плонжер, я официант, а тоже было дело – *и мне* пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, ни корки хлеба!

Чертовы, я тебе скажу, денечки. Вся радость, хоть за комнату вперед было заплачено. Жил я тогда в Латинском квартале, на улице Святой Элоизы в задрипанной гостинице, «Отель ***» – по имени какой-то здешней старинной шлюхи знаменитой. Остался без куска и сделать ничего не могу, даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу – полфранка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые по стенкам любоваться. Я тебе так скажу, еще раз через это очень бы неохота.

В пятый день прямо ополоумел (сейчас думаю, точно тогда спятил). Висела там печатная картинка с личиком женским, давно прилипавшая, вся уж выгорела, и вот разобрало меня – кто ж такая? Час прямо думал и в конце надумал – видно, самая та святая Элоиза, которая здешняя покровительница. Раньше про все такое никогда, но тут-то, с голодухи, самое чудное дело в мозги заехало.

«Ecouste, mon cher⁶⁶, – говорю я себе, – загнешься ведь при такой жизни. Давай-ка действуй. Что б вот тебе перед этой святой Элоизой взять да и помолиться? Стань на колени, попроси денжат послать хоть сколько. Попробуй, хуже-то небось не станет!»

Псих, да? А надо ж чем-то от голода спасаться. Тем более вреда вроде бы никакого. Слез с койки, стал молитву говорить:

«Дорогая святая Элоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста, денжат немножко. Много-то я не прошу – купить хотя бы пару буханок и винца бутылку, силенки чтоб вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь если, так не представляешь, как я тебя благодарить буду. Не сомневайся – если чего пошлешь, сразу пойду свечку тебе поставлю в твоей церкви, которая вон с краю улицы. Аминь».

Насчет свечки я потому, что слышал – нравится этим святым, когда им для почета свечки жгут. Все решил сделать, конечно, как обещался. Хотя я в бога-то не верю и на особо чего не рассчитывал.

Ну вот, залез обратно в койку, а через пять минут стучат. Пришла Мария, толстуха деревенская, тоже там проживала. Дура совсем, но девка первый сорт, не хотелось перед ней дохляком показываться. Глянула она на меня и в голос:

– Nom de Dieu! Что это с тобой? Чего разлегся посреди дня? T'en as une mine!⁶⁷ В точности покойник!

Вид у меня, наверное, был веселый – пять дней не жрал и не вставал почти, и уже дня три как не мылся и не брился. Комната тоже свинарник настоящий. Мария опять кричит:

– Да что стряслось?

⁶⁶ Послушай, мой дорогой (*фр.*).

⁶⁷ Ну и вид у тебя! (вульг. *фр.*)

– Стряслось! – говорю я. – Ни черта! Голодный! Пять дней во рту ни крошки, вот что стряслось.

Мария заохала:

– Пряма-таки ни крошки? Чего ж? Нисколько, что ли, нету денег?

– Денег! Сама ты сообрази, стал бы я голодать-то, когда бы были? Пять су в кармане, и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать? Найдешь если тут на полфранка, значит, умней меня.

Мария стала смотреть кругом. Ходила, тыкалась по углам в разный хлам – и вдруг прямо вся затряслась, глазищи круглые, губищи толстые выпятила:

– Балда! – кричит. – Дурень! А это *что*?

Смотрю, из кучи раскопала керосиновый бидон для той лампы, которую я уж давно с другим барахлом в заклад снес.

– И что? – говорю. – Бидон керосиновый, что ж еще?

– Дурень! Ты в лавке, когда керосину отпускали, за бидон три франка залог давал?

Ну верно, три с полтиной тогда выложил. Всегда ведь за бидон велят залог оставить, а после, как бидон вернешь, деньги назад.

– Давал, чтоб их... – начал я.

– Вот балда! – орет Мария. И пляшет, так разошлась, я думал, полы своими дубовыми башмаками проломит точно. – T'es louf!⁶⁸ T'es louf! Чего ж обратно в лавку не бежишь залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом! Вот дурень!

Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бидон сдать. Пять дней рядом монеты были! Голову с подушки поднял: «Живо! – кричу Марии, – выручай, чертом несись на угол, к бакалейщику! Да куснуть притащи!»

Мария молча бидон хватить и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло, назад – в одной руке кило хлеба, в другой вина пол-литра. Не до спасибо даже было, цапнул хлеб и давай зубами рвать. А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евши? Сырой, холодный, к языку замазкой липнет, но хорош, дьявол! А вино – я бутылку в рот опрокинул и без отрыва, и прям в жилы по всему организму сила потекла. Эх, другая жизнь!

Кило хлеба сожрал, не передохнул. Мария все стояла руки в боки, глядела, как я ел.

– Ну, – говорит потом, – получше?

– Получше! – говорю. – Куда как лучше! Одно бы еще только – закурить.

Она рукой в кармане фартука пошарила, башкой мотает:

– Не, никак. Семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка – двенадцать су.

– Тогда, – кричу, – будет мне курево! Ну, дьявол, во валит удача! Пять су у меня есть, как раз и хватит.

Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику. А я тут кое-чего вспомнил, что вовсе из головы вон. Про эту, черт ее дерит, святую Элоизу. Я же ей свечку обещал, если денег пошлет, а разве ж не сбылось? «Франка бы три-четыре» попросил – и тут же на-ка тебе три с полтиной. Никуда, значит, не денешься, придется денежки все на свечку выкинуть. Зову назад Марию, говорю: «Не пройдет. Святая Элоиза – свечку ей обещал. На нее надо двенадцать су». И что, кретин, сам вылез? Сигарет даже после всего не купить.

– Святая Элоиза? – спрашивает Мария. – Она при чем?

– Деньжат у нее попросил и свечку обещался ей поставить, а она вот молитву приняла – денег, как ни крути, подкинула. Обида, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет.

– С чего это святая Элоиза в башку тебе ударила?

– С портрета, – говорю я, – гляди вон, на картинке.

⁶⁸ Ты чокнутый! (вульг. фр.)

Ну Мария, как поглядела, от хохоту стала разрываться. Хохочет и хохочет, бегаёт, за бока жирные ухватилась, сейчас лопнет. Совсем тронулась девка. Минуты две говорить не могла, потом стонет:

– Балда! Чокнутый! Ты чего, впрямь перед этой картинкой на коленках стоял, молился? Да тебе кто сказал-то, что она святая Элоиза?

– Но теперь точно, что она, – проверено!

– Дурак ты! Не святая Элоиза это вовсе, а знаешь кто?

– Кто?

– ***! Та самая, от которой у нас и называется «Отель ***».

Это я, стало быть, молился перед шлюхой, с наполеоновского ещё времени знаменитой!

Ну и пускай, вышло-то хорошо. Мы с Марией всласть посмеялись, потолковали и вывели, что святой Элоизе ничего я не должен. Понятно, не она мне помогла, значит, и нечего на свечки ей транжириться. Так что купил я все же свою пачку сигарет».

XVI

Время шло, но «Трактир Жана Коттара» не обнаруживал признаков открытия. Однажды, в часы дневного перерыва, мы с Борисом туда сходили – все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и троих мрачных кредиторов вместо двоих. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью, при этом очень расторопно обратившись ко мне (его будущей судомойке) и позаимствовав пять франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия «ровно через две недели, день в день!» и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. Дама – уроженка Русской Балтии, метра полтора ростом и в бедрах метр поперек – сообщила нам, что прежде чем опуститься до кулинарии, пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности «Хижину дяди Тома»⁶⁹.

За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею плонжеров. Жизнь не особенно разнообразная. Без четверти шесть вскакиваешь как ошпаренный, заныриваешь в заскорузлую от грязи одежду и, невымытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брезжит рассвет, фасады темные, лишь изредка светятся окна кафе для работяг. Небо – как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают трехметровыми метлами, стаи оборванцев что-то выуживают из помойных баков. Торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц вливаются в подземные входы метро. Мимо угрюмо громяют переполненные, накренившиеся трамваи. Спешешь вниз к поезду, изо всех сил пробиваешься – в парижском метро в шесть утра надо буквально биться – и, стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до двух дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин.

Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить, либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов, нашей знати, все остальные расточали временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины плонжеров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице Сийе, обходившегося лишь по пять с четвертью франков (чуть больше десяти пенсов). Называлось это «взять комплексный обед», детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее. И это был обычный, главный вариант любви. Жениться с доходом плонжера невозможно, а к тонким романтическим чувствам труды в подвалах не располагают.

Потом еще четыре часа под землей – и, весь в поту, всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари (фонари в Париже со странным пурпурным отсветом), за рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей, вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов, спешила продолжить путь. Затем вторая за день битва в метро, и около десяти дома. Посидеть до двенадцати я шел обыкновенно в тот подвальныйчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое, многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, но арабы обычно дрались между собой и христиан не трогали. Raki, арабская рисовая водка, сто-

⁶⁹ Любительница английской литературы называет роман американской писательницы Г.Бичер-Стоу.

ила гроши; работало это быстро круглосуточно, ибо счастливики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать.

Вот такова рутинная жизнь плонжера, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал четырьмя франками в день для мелких развлечений, а это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить, – некий отяжеляющий покой, похожий, должно быть, на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь – проще не придумать: сон – работа, работа – сон, и никаких пауз для размышлений, и внешний мир почти не трогает сознания. Париж плонжера – это его отель, метро, пара ближайших быстро и кровать. «Выбраться на природу» для него – отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку-служанку, угощать ее пивом с устрицами. Выходной – проваляться до полудня, сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или же проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны плонжеру лишь «рабоченка», выпивка и сон, причем самое главное – поспать.

Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой, я выглянул – внизу распростертое тело, в конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв, череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню какой-то необычный, красно-лиловый, как вино, цвет крови; помню, что, возвратясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике (целый день, мне сказали, школьники со всей округи бегали поглазеть). Но что меня теперь, оглядываясь назад, поражает, – это то, что спустя три минуты я лег и заснул. Так же, как остальные с нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать?

Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле – цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение; не столько отдых, сколько оргия сладострастия. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец. Густо наперченные простыни заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо, и они эмигрировали в другие комнаты.

XVII

С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь стать активным членом общества. Субботним вечерком спускаться в бистро «Отеля де Труа Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями.

В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка два гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот, непременно орать во все горло. Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней – пели «Марсельезу», «Интернационал», или «Мадлон», или же «Ягодки и малинки». Азайя, рослая неуклюжая деваха, ломившая по четырнадцать часов на стекольном заводе, затягивала «*Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le Charlstone*»⁷⁰. Ее подруга Маринетт, смуглая тоненькая горячка корсиканка, плотно сдвинув колени, танцевала *danse du ventre*⁷¹. Болтавшие между столиками старики Ружьеры клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла. Мертвецки бледный Р. тихонько надирался в своем углу. Пьяный Шарль, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной ручке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи. Азартно (проигравший угощал) кидали кости, метали стрелы в мишень. Испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игральный стаканчик об их животы – на счастье. Мадам Ф. у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана *chorines*⁷², рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп. Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот – очень приятное местечко и сейчас собрались тут лучшие из людей.

Постепенно шум несколько ослабевал. Тогда примерно около полуночи раздавалось зычное «Граждане!» и грохот опрокинутого стула. Поднявшийся с налитым кровью лицом светловолосый работяга резко стучал бутылкой по столу. Песни смолкали, вокруг шелестело: «Тс-с! Фуре завелся!» На чудака Фуре, каменотеса из Лимузена, прилежного труженика, раз в неделю накатывал припадок дикого пьянства. Контуженный и потерявший память, забывший все о довоенных временах, он бы давно спился, если бы не благое попечение мадам Ф. В субботу, часов в пять, она посылала кого-нибудь «ловить Фуре, пока получку не спустил», а когда пойманного приводили, отбирала у него деньги, оставляя лишь на одну попойку. Однажды Фуре упустили, и его, напившегося до бесчувствия, свалившего на площади Монж, едва не насмерть переехал автомобиль.

Особой странностью Фуре было то, что, являясь коммунистом, спяну он круто выворачивал к бешеному патриотизму. Сев за столик поборником великих интернациональных принципов, после четырех-пяти литров вина вскакивал шовинистом, разоблачал шпионов, призывал громить всех иностранцев и, не будучи вовремя укрощен, швырялся бутылками. Именно на этой стадии произносились его субботние речи. Всегда одно и то же, слово в слово:

– Граждане Республики! Есть ли тут среди вас французы? Если тут еще есть французы, я поднялся, чтобы напомнить – решительно напомнить о славных днях войны. Пробил час оживить в памяти дни единения и героизма – решительно оживить дни единения и героизма. Пробил час вспомнить павших героев – решительно вспомнить павших героев. Граждане Республики, я сам был ранен под Верденом...

⁷⁰ «Так отплясывала чарльстон, что у нее свалились панталоны» (*фр.*).

⁷¹ Танец живота (*фр.*).

⁷² Пол-литровые бутылки (разг. *фр.*).

Здесь он частично раздевался, демонстрируя след своей раны. Гремели аплодисменты. Речи Фуре воспринимались нами как лучшее комическое зрелище. Это был знаменитый на весь квартал спектакль, к началу которого подходили зрители из других бистро.

Ловился Фуре всегда на одну приманку. Кто-нибудь, подмигнув, требовал тишины и просил его спеть «Марсельезу». Он запевал красивым звучным басом, начинавшим взволнованно рокотать на патриотическом призыве «Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!»⁷³. Слезы катились по его щекам, наших насмешек он, в стельку пьяный, не замечал. С последней нотой парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступная его кулакам Азайя вопила: «Vive l'Allemagne!»⁷⁴ Лицо патриота до черноты багровело от такого позора. Зрители хором кричали: «Vive l'Allemagne! À bas la France!»⁷⁵, и Фуре яростно рвался до них добраться. Но вдруг он портил всю потеху: бледнел, грустнел, тело мгновенно обмякало и, бессильное, извергало на стол потоки рвоты. Мадам Ф., взвалив подопечного как куль, тащила его к постели – утром Фуре появится тихим и смиренным, купит обычный свой номер «Юманите»⁷⁶.

Столики протирались тряпкой, мадам Ф. приносила батареи бутылок и караваи хлеба, мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни. Бродячий музыкант играл на банджо, пять су за номер. Пришедшие из бистро в конце улицы араб с подругой исполняли танец, где кавалер манипулировал раскрашенным деревянным фаллосом размером со скалку. В шуме все чаще появлялись паузы. Начинались беседы, обсуждались любовь, война, подходящие удочки для Сены, лучшие методы *faire la révolution*⁷⁷. Наперебой излагались истории. Успевший протрезветь Шарль захватывал здесь лидерство и минут пять разглагольствовал о своей душе. Двери и окна отворялись проветрить комнату. С пустынных улиц слышалось, как вдали по бульвару Сен-Мишель громыхает молочный обоз. Ветерок освежал лбы, скверное африканское вино еще хлебалось с удовольствием, нам еще было хорошо, но уже созерцательно; ни орать, ни смеяться больше не хотелось.

К часу ночи ощущение счастья явно меркло. В погоне за уходящим весельем мы снова требовали вина, и мадам Ф. снова его приносила, но все уже было не то. Мужчин тянуло на скандал. Девушки, которых начинали донимать поцелуями и грубо лапать, во избежание худшего удирали. Большой Луи, налижавшись, ползал на четвереньках, гавкая, изображая собаку. Надоевшего, путавшегося в ногах, его раздраженно пинали. Собеседники выясняли отношения, хватая друг друга руками и сердясь на то, что их плохо слушают. Толпа редела. Мануэль с другими столь же азартными парнями переправлялись в арабское бистро, где игроки сидели до рассвета. Шарль, заняв у мадам Ф. тридцать франков, внезапно исчезал, вероятно в бордель. Один за другим люди допивали стаканы и, коротко распрощавшись «...sieurs, dames!», шли спать.

К половине второго последние капли праздника испарялись, оставляя лишь головную боль. Мы больше не были счастливыми гостями счастливейшего из миров, просто жалкими работягами, которые тупо, угрюмо напились. И вино, которое мы еще продолжали лить себе в глотку, делалась гнусным пойлом. Голова пухла, как резиновый шар, пол качался, рот от пятен вина синел, будто измазанный чернилами. Продолжать становилось вконец бессмысленно. Некоторых, выходявших из бистро на задний двор, тошнило. Мы кое-как доползли до наших коек и, успев лишь наполовину снять одежду, сваливались часов на десять.

Большинство моих субботних вечеров проходило именно так. И в общем, парочка часов безумного ликующего счастья стоила тяжелой похмельной расплаты. В нашем квартале для

⁷³ «К оружию, граждане! В отряды собирайтесь!» (фр.)

⁷⁴ Да здравствует Германия! (фр.)

⁷⁵ Долой Францию! (фр.)

⁷⁶ Газета французской компартии.

⁷⁷ Совершить революцию (фр.).

многих, бессемейных и о семье не помышлявших, еженедельная крепкая пьянка была единственным, что делало эту жизнь годной для проживания.

XVIII

На очередном субботнем собрании в бистро малыш Шарль недурно нас развлек. Надо бы видеть его – пьяного, но несокрушимо красноречивого, как он стучит по цинковой буфетной стойке и громогласно требует тишины:

«Тише, *messieurs et dames*, потише, умоляю! Позвольте предложить вашему благосклонному вниманию историю – замечательную, поучительную историю, одну из памятных вех изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, *messieurs et dames*!

Это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково – дьявольски скверно! – личности сложной и утонченной в подобных обстоятельствах. Денежный перевод от семейства задерживался, все заложено до нитки, и никакого выхода, кроме жуткого варианта идти работать, что для меня абсолютно исключено. Жил я тогда с девицей по имени Ивонн – здоровенная безмозглая деревенщина вроде нашей Азайи, соломенные волосы и ноги бревнами. Оба мы третий день ничего не ели. *Mon Dieu*, невыразимые страдания! Девица, прижав ручки к брюху, моталась туда-сюда по комнате, мерзким собачьим воем выла, что помирает с голода. Мрак и ужас.

Но человеку мыслящему нет преград. Я задал себе вопрос: «Как легче всего заработать, не трудясь?» Незамедлительно возник ответ: «Легче всего, если быть женщиной; у женщин всегда найдется чем поторговать, не так ли?» И вот в процессе размышлений о том, что бы я сам предпринял, будучи женщиной, пришла идея – государственный Дом материнства. Вам, господа, знакомы эти учреждения? Там женщину *enciente*⁷⁸, не донимая расспросами, кормят даром. Поощряют деторождение. Любой беременной достаточно прийти и попросить – ее тут же накормят.

Mon Dieu, подумалось мне, если бы я только был женщиной! Я бы питался в таком заведении каждый день. Разве возможно без обследования распознать, реальна ли беременность? Зову Ивонн:

– Прекрати свой невыносимый вой! Я придумал, как раздобыть еды.

– Как? – спрашивает она.

– Очень просто. Приходишь в Дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей.

Ивонн перепугалась:

– *Mais, mon Dieu!* Я ведь не беременна!

– Так что же? – объясняю ей. – Какие трудности? Что тут нужно, кроме подушки, в крайнем случае – двух? Это внушение свыше, *ma chere*. Не просто так.

Ну наконец уговорил; пристроили подруге подушку на живот, и я отвел Ивонн в Дом материнства. Встретили ее там с расprostертыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивонн налопалась так, что едва не треснула, сумев тихонько насовать по карманам хлеба и сыра для меня. Я ее ежедневно туда водил, пока деньги из дома не пришли. Мой интеллект нас спас.

Все прошло замечательно, но год спустя (я еще жил с Ивонн) мы как-то возвращались от бульвара Порт Руаяль вдоль казарм. Вдруг Ивонн, разинув рот, запыхала, побелела, покрылась пятнами.

– Господи! – хрипит. – Погляди, кто идет! Это ж старшая медсестра из госпиталя. Мне конец!

– Мигом, – командуя я, – смываемся!

⁷⁸ Беременная (*фр.*).

Но поздно. Медсестра узнала Ивонн – и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пенсне и щеки парой красных яблок. Этакая мамаша – наивреднейший женский сорт. Сияет и воркует:

– Хорошо ли вы себя чувствуете, *ma petite*? Младенец тоже, надеюсь, здоров? Это мальчик, как вам хотелось?

Ивонн так затрясло, что пришлось руку ей намертво стиснуть. Лепечет еле-еле:

– Нет...

– Ах вот как, значит, *évidemment* – девочка?

Ивонн совсем голову потеряла и – дура полная! – опять:

– Нет...

Медсестра, отшатнувшись, кричит:

– *Comment!*⁷⁹ Не мальчик и не девочка? А кто же?

Теперь вообразите, *messieurs et dames*, опасность положения. Ивонн багровая как свекла и вот-вот разревется; еще секунда – во всем признается. И только небо знает, что последует. Однако я – у меня голова всегда на месте. Я вмешиваюсь и спасаю ситуацию:

– Родилась двойня! – твердо говорю я.

– Двойняшки? – восклицает медсестра и кидается к Ивонн, обнимает, целует в буйном восторге.

Да, господа, двойняшки...»

⁷⁹ Как же это! (*фр.*)

XIX

Мы проработали в «Отеле Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Риволи, он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу:

– Ура, свобода, *mon ami!* Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается.

– Завтра?

– Ну денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было – кафетерию конец! *Nous voilà lancés, mon ami!*⁸⁰ Фрак свой я уже выкупил.

Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто, да и терять прочное место в «Отеле Икс» несколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что назавтра заявил об увольнении, а послезавтра в семь утра отправился к «Трактиру Жана Коттара». Все заперто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище на улице Круа Нивер; нашел – спящим, причем с девицей, которую он подцепил ночью и у которой, как он успел шепнуть, оказался «весьма подходящий темперамент». О ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи.

В десять удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих «кое-каких мелочей», коротко говоря – никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели, кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше чем через десять дней ресторан мог открыться только чудом, а реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна: сидевший без гроша патрон нанял нас (четверых штатных служащих), чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалованья не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить пока, за отсутствием кухни, не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу ради пустышки.

Борис, однако же, горел надеждой. Его обурежала единственная мысль – возможность вновь сделаться официантом и нарядиться во фрак. Во имя этого он рвался трудиться десять дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным. «Терпение! – продолжал он твердить. – Все само собой образуется. Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, *mon ami!*».

Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы – водопровод, газ, электричество – стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совершенно издержался – отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа создавало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспреданно навещавшим его меланхоличным кредиторам мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу, или же Фонтенбло, или каком-либо ином достаточно отдаленном месте. Мне, между тем, становилось все голоднее. Уволившись с тридцатью франками в кармане, я должен был опять перейти на сугубо хлебную диету. Борис вначале смог авансом вытащить из патрона шестьдесят франков, но половину он сразу потратил, выкупив фрак, а другой половиной вознаграждал девицу подходящего темперамента, и теперь ежедневно занимал у Жюля, второго официанта, по три франка на хлеб. Несколько суток нам пришлось обходиться даже без табака.

⁸⁰ Мы все-таки прорвались, друг мой! (*фр.*)

Иногда заходила взглянуть, как движутся дела, ресторанный повариха и, обзрев по-прежнему пустую, голую кухню, ударялась в слезы. Второй официант Жюль – бывший студент-медик, оставивший учебу из-за нехватки средств, – наотрез отказался помогать с обустройством. Это был венгр, смугловатый и быстроглазый парень в очках, очень болтливый. Особенно любивший поговорить, когда другие трудятся, он рассказал все о себе и собственном мировоззрении. Исповедовал он коммунизм, хотя в форме крайне причудливой (как дважды два мог доказать вам, что труд – это есть зло и вред), к тому же отличался чисто венгерской неукротимой гордостью. Лень и гордыня – не лучшие свойства для официанта. Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп, после чего, не дожидаясь увольнения, прошествовал на выход.

День ото дня Жюля все больше распалили трюки ловчившего с нами патрона. Все выше бил фонтан гневливой трескотни. Рубя воздух взмахами кулака, агитатор подстрекал меня к бунту:

«Брось ты швабру, не дури! Мы с тобой дети гордых народов, бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные! Мне, ты пойми, все это надувательство хуже пытки. Со мной, бывало, кто-нибудь сплутует хоть на пять су, так меня рвет – да, рвет от бешенства.

И ты, *mon vieux*, не забывай – я коммунист! *À bas les bourgeois!*⁸¹ Кто видел, чтоб я что-то делал, если можно не делать? Никто и никогда. И я не только не позволю пахать на себе, как болваны вроде тебя, но докажу свою свободу – украду просто из принципа. Однажды занесло меня в ресторан, где хозяин решил, что я ему пес покорный. Ну ладно, я тогда придумал, как вскрывать и опять незаметно запечатывать молочные бидоны. С вечера до утра, клянусь, возился около этого молока, хлебал его в день по четыре литра да еще сливок пол-литра. У хозяина уже ум за разум: куда девается? И не то что хотелось мне молока – материальное, ты понимаешь, я презираю, – принцип, только из принципа.

Ну вот, дня через три такая резь началась в животе, что побежал к врачу. «Что вы едите?» – спрашивает врач. – «Пью ежедневно четыре литра молока, пол-литра сливок». – «Четыре литра?! Немедленно прекратите, у вас желудок лопнет». – «Ха, вот беда какая! – отвечаю врачу. – Для меня принцип – это все. Пусть даже лопну, но пить молоко не перестану».

Ну а на следующий день хозяин ловит меня на краже, объявляет: «Я увольняю вас, уйдете в конце недели». – «Пардон, – говорю, – сударь, ухожу я прямо сейчас». – «Нет, – возражает он, – вы обязаны здесь отработать до субботы». Что ж, отлично, думаю, дорогой хозяин, мы посмотрим, кто от кого быстрее устанет. И начал как бы ненароком посуду ему колотить. Разбил за день девять тарелок, назавтра еще тринадцать – тут уж хозяин счастлив был со мной проститься.

Вот так, я не какой-то русский мужик»...

Минуло десять дней. Стало совсем невесело. Деньги у меня кончились совершенно, с платой за жилье я уже почти на неделю запаздывал. Слишком голодные, то есть работники никчемные, мы лишь слонялись по унылым пустым комнатам. Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метрдотеля им был измышлен такой сюжет: патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятной игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону, сказал, что больше без аванса работать не могу. Неизменно любезный, патрон охотно обещал и тут же, по своему обыкновению, исчез. Я поплелся было домой, но почувствовал себя неспособным объясняться с мадам Ф. насчет долга, вследствие чего ночевал на бульваре. Очень некомфортно (ребра скамейки врезаются вам в зад) и много холоднее, чем я предполагал. До рассвета вполне хватило времени истерзать себя мыслями о том, почему я, дурак, сам, добровольно отдался в лапы этих русских.

⁸¹ Долой буржуев! (*фр.*)

А утром – счастливый поворот. Патрон, видимо, пришел к соглашению с кредиторами, так как явился при деньгах, дал ход дальнейшим ремонтным работам и выплатил мне аванс. Купив макароны и кусок конской печенки, мы с Борисом впервые за десять дней поели горячего.

Все недоделки устранялись спешно, с халтурностью неопишуемой. Столы, например, требовалось покрыть байкой, но, сочтя байку слишком дорогой, патрон закупил кучу старых, навеки провонявших потом солдатских одеял – под дорогими скатертями «в нормандском стиле» кто увидит? Накануне открытия мы до двух ночи принимали оборудование. Посуду, привезенную со склада лишь в восемь вечера, необходимо было еще перемыть. Поскольку доставка столовых приборов, салфеток, полотенец откладывалась до утра, тарелки вытирались рубашкой патрона и рваной наволочкой консьержки. Работали только я и Борис. Жюль прятался, патрон с супругой, кое-кем из кредиторов и компанией русских друзей сидели в баре, пили за удачу. Повариха, уткнувшись лбом в кухонный стол, рыдала – клиентов предполагалось человек пятьдесят, а площашек-поварешек едва хватало на десятерых. Чуть за полночь возник бурный конфликт с поставщиками, решившими конфисковать восемь взятых в кредит медных кастрюль. Жестоких кредиторов удалось смягчить парой стаканов бренди.

Опоздав на метро, мы с Жюлем спали подле кухонных плит. И первое, что утром предстало взору, – две громадные крысы, восседающие на столе и грызущие неубранную ветчину. Почудилось дурное предзнаменование, у меня сомнений не осталось в верной скорой гибели «Трактира Жана Коттара».

XX

Взяли меня в «Трактир» плонжером, то есть я должен был мыть посуду, убирать кухню, чистить овощи, готовить чай, кофе, бутерброды, помогать у плиты и бегать с поручениями. Условия стандартные – пятьсот франков в месяц плюс кормежка, но никаких выходных и бесконечный рабочий день. Увидевший в «Отеле Икс» высший класс ресторанного дела, умело организованного при больших вложенных капиталах, я теперь познакомился с рестораном самого дрянного свойства. Об этом стоит рассказать, ведь каждому гостю Парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях, коих здесь сотни.

Следует добавить, что «Трактир» не принадлежал к сорту обыкновенных недорогих столовых для студентов и пролетариев. У нас в меню блюда дешевле двадцати пяти франков не значилось, нас возвышал жанр изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное Средневековье (с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, «крестьянскими» расписными горшками и даже кованым дверным засовом), патрон и метрдотель – русские офицеры, публика главным образом из русских эмигрантов – короче, мы решительно являли шик.

За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем неизбежного в наших рабочих условиях.

Кухня всего метров двенадцать и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться. Единственный мусорный ящик к полудню переполнен, пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов.

Газовых плит лишь три и без духовок; запечь что-либо посылали в соседнюю пекарню.

Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс.

Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда, и основную часть посуды я мыл холодной водой. При том что мыло липло, но не мылилось, подручным средством очистки от жира служили клочья газеты.

Кастрюль катастрофически не хватало, и, едва очередная пустела, нужно было тут же, не оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это означало примерно час ежедневной лишней работы.

Из-за каких-то плутней с электропроводкой свет в кухне около восьми вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам три свечки, но поскольку повараха, сплеховав, три и попросила, рачительный хозяин позволял только две.

Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бистро, наши метлы и мусорный ящик – у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долга прачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозила неприятностями инспекция по труду (после ряда частных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой). Агенты все еще осаждавшей счетами электрической компании, разведав, что их подкупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если б супруга бакалейщика, усатая дама лет шестидесяти, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого каждый день первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних часов у раковины, я в том же духе терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс.

Естественные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот в таких условиях нам с поварахой нужно было кормить по тридцать-сорок посетителей, число которых могло возрасти до сотни. Задача, сразу стало ясно, непосильная. У поварахи рабочий день длился с восьми утра до полуночи, у меня – с семи до половины первого (больше семнадцати часов, практически без перерыва). Раньше пяти вечера даже присесть нам было некогда, а

потом если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с восьми утра до двух ночи – по восемнадцать часов все семь дней недели; режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный.

Новая будничная колея быстро стала привычной, заставляя вспоминать об «Отеле Икс» как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицо, мчался к Пляс Итали и пробивался в метро. В семь оказывался среди мерзости запустения холодной, промозглой кухни – на полу месиво картофельных очистков и рыбьей требухи, на столах груды склеенных застывшим жиром грязных тарелок. С тарелок я, однако, пока вода не согреется, начать не мог и, притащив молоко, варил кофе для приходивших в восемь и рассчитывавших найти кофе горячим. Кроме того, всегда требовалось вычистить несколько медных кастрюль. Эти посудины из меди – проклятие плонжеров, их вначале минут по десять каждую отскребаешь цепями и песком, а затем полируешь специальной пастой. Слава богу, искусство их изготовления пришло в упадок, и постепенно они исчезают с французских кухонь, хотя отдельные шедевры еще можно разыскать у старьевщиков.

Только я начинал мыть тарелки, повариха требовала оставить посуду и срочно чистить лук, но только я приступал к луку, заглянувший патрон отправлял меня на базар купить капусту. Принеся капусту, я получал распоряжение жены патрона сходить в дальнюю лавку за банкой маринованных томатов; к моменту возвращения выяснялась нехватка каких-то других овощей, а посуда так и стояла немойтой. Подобным образом мы громоздили кучи работы, ничего толком не успевая.

До десяти все шло сравнительно легко, мы торопились, но еще не раздражались. Повариха еще находила время поговорить о своей артистической натуре, выразить несогласие с тем, что Лев Толстой писатель *épatant*⁸², и, кроша мясо на дощечке, напевать высоким чистым сопрано. Однако в десять, когда полагалось кормить завтраком официантов и всего час оставался до прихода первых клиентов, налетал вихрь нервотрепки. Не тем неистово ревушим ураганом, что поднимался в «Отеле Икс», а бестолковой суетой, досадой, злобной мелочной склокой. В основном из-за неудобства. Теснота жуткая, кушанья приходилось расставлять на полу и постоянно думать, как бы на них не наступить. То и дело толчки объемистого зада поварихи, сновавшей туда-сюда и беспрерывно меня распекавшей:

«Немыслимый идиот! Сколько раз говорить, со свеклой осторожней – сок вытечет! Ну-ка брысь, к раковине дай пройти! Нечего ножи чистить, срочно займись картошкой. Куда ты сунул мое сито? Брось картошку, кто за тебя будет пену снимать с бульона? Забирай скорее свой кипяток и мой посуду. Потом мыть будешь, поруби мне сельдерей. Нет, не так, болван, а вот так! Ну конечно! Опять горох у него выкипел! Все брось и срочно займись селедкой. Тарелки вымоешь когда-нибудь? С фартука у себя гадость эту сотри! Поставь салат на пол. Поставил прямо так, чтобы я вляпалась! Смотри же, снова перекипает! Кастрюлю мне достань. Не ту, другую! Ставь сюда. Унеси очистки. Время зря не трать, кидай их на пол. Да, под ноги! Хоть бы опилок, идиот, подсыпал – пол уже как каток. Ослеп? Не видишь, бифштекс горит? Mon Dieu, за что мне в наказание такой кретин? Что? Кто я? Ты хоть понимаешь, что тетушка моя была русской графиней?..»

Подобным образом до трех, довольно монотонно, за исключением настигавшего повариху около одиннадцати *crise de nerfs*⁸³ с морем слез. После двух до пяти затишье для официантов, но у поварихи по-прежнему масса хлопот, а для меня пик напряжения возле гор грязной посуды, которую (всю или уж по крайней мере почти всю) надо было успеть вымыть к обеду. Труд мой осложнялся первобытной оснасткой: узенький подсобный столик, чуть теплая

⁸² Потрясающий (*фр.*).

⁸³ Нервного припадка (*фр.*).

вода, мокрые полотенца и ежечасно наглухо забивавшийся слив. К пяти мы с поварихой, еще не евшие, ни разу не присевшие, буквально валились с ног и рушились – она на мусорный ящик, я на пол. Выпивали бутылку пива, взаимно извинялись за некоторые недавние резкие выражения. Силы наши давно иссякли бы без чая, который всегда прел на плите и поглощался многими пинтами.

С половины шестого снова гонка и опять свары, еще более злобные ввиду общей усталости. Очередные *crises de nerfs* у поварихи (ровно в шесть и ровно в девять, можно было часы сверять). Повалившись на мусорный ящик, повариха истерично рыдала с криком, что никогда – нет! никогда! – не помышляла дойти до такой жизни, что нервы ее не выдержат, что она училась музыке в Вене, что у нее на руках прикованный к постели муж... В иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры (и в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис как старший официант претендовал на соответствующее увеличение своей доли чаевых); уже на следующий день после открытия они начали драку из-за двух франков, мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер, – патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжений о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмена – дело, которое им исполнялось в совершенстве.

Поесть нам в кухне удавалось только после десяти вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, хныча о погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже уходил в полночь, после очередных, ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до двух. С двенадцати до половины первого я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. Что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался либо мимоходом заталкивал самую гнусную подальше, под плиту.

В половине первого, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно останавливал патрон, сама любезность: «*Mais, mon cher monsieur*⁸⁴, у вас такой усталый вид! Окажите мне честь, позвольте предложить вам стаканчик бренди».

Стаканчик предлагался столь учтиво, будто я не плонжер, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по семнадцать часов в сутки.

Последний поезд метро обычно шел полупустым – немалое преимущество, позволявшее наконец сесть и дремать минут пятнадцать. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу, но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике.

⁸⁴ О, сударь мой дорогой (*фр.*).

XXI

Так (с некоторым возрастанием нагрузки ввиду притока посетителей) прошло около двух недель. Я выгадал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном. Дней через десять, улучив минуту, я написал своему другу Б., просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать долее пяти часов. Семнадцатичасовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться – отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно к тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме, и не пару недель, а годами. В бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с семи утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец, и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чахоткой, умерла вскоре после моего отъезда из Парижа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.